

# Пробуждение

**Автор:**

[Маргарет Этвуд](#)

Пробуждение

Маргарет Этвуд

Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд

Группа друзей едет в дремучую канадскую глубинку, в хижину на озере, где раньше жили родители безымянной главной героини. Не так давно пропал ее отец, много лет живший здесь отшельником, и она должна вернуться в прошлое, чтобы разгадать тайну его таинственного исчезновения. Женщина баюкает в себе забытую травму, которая то и дело всплывает на поверхность. День за днем она все глубже погружается в воспоминания о детстве в этом месте. Она буквально сливается с природой и отгораживается от мельтешащих, бессмысленно жестоких людей, которые постепенно начинают походить в ее воображении на пластмассовых манекенов, на андроидов. За отчуждением следует подступающее безумие... Но, быть может, только через безумие и возможно пробудиться, чтобы начать настоящую жизнь.

Маргарет Этвуд

Пробуждение

© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

## Часть первая

### Глава первая

Не верится, что я снова на этой петляющей вдоль озера дороге, где умирают белые березы, – болезнь распространяется с юга. И я отмечаю, что появился прокат гидропланов. Но это все еще на подходе к городу; мы не стали ехать через него, он достаточно разросся, чтобы сделали обводную дорогу – это прогресс.

Я никогда не считала это поселение городом; скорее, последним или первым сторожевым постом – смотря в какую сторону ехать, – скоплением хибар и ларьков с единственной главной улицей, с одним кинотеатром «...итц...оял» (красная «Р» перегорела) и двумя ресторанами, в которых подавали одинаковые серые биточки в подливке, похожей на грязь, консервированные бобы, водянистые и бледные, как рыбы глаза, и картошку фри, залитую свиным жиром. «Закажи яйцо пашот, – говорила мама, – и по краям будет видно, насколько оно свежее».

В одном из этих ресторанов, еще до моего рождения, мой брат забрался под стол и гладил руками ноги официантки, когда она приносила еду; это было во время войны, и официантка была в блестящих оранжевых чулках из вискозы, таких брат прежде никогда не видел, поскольку мама ничего подобного не носила. Потом как-то раз мы с ним бежали босиком по снегу через тротуар, потому что у нас не было ботинок – все сносили за лето. В машине мы уселись, завернув ноги в покрывало, и притворились, будто мы раненые. Брат сказал, что немцы отстрелили нам ноги.

Но теперь я в другой машине, Дэвида и Анны; сплошной хром и острые плавники, несуразный монстр из прошлого десятилетия. Чтобы включить свет, нужно засунуть руку под приборную панель. Дэвид говорит, новая машина им не по карману, но я ему не очень верю. Он хороший водитель, я это понимаю, но все равно свободную руку держу поближе к дверце, чтобы быть готовой в случае чего быстро выскочить. Я и раньше ездила с ними в этой машине, но на этой дороге что-то как будто не так – то ли они трое не в своей тарелке, то ли я.

Я на заднем сиденье, с рюкзаками; а этот, Джо, сидит рядом, жует жвачку и держит меня за руку – и то, и другое от скуки. Я изучаю его руку: широкая ладонь, короткие пальцы, сжимаются и разжимаются, играя с моим золотым кольцом, крутя его – такая у него привычка. У него крестьянские руки, у меня крестьянские ноги, точнее, ступни, как нам сказала Анна. Сейчас все понемногу шаманят – Анна гадает по руке на вечеринках, говорит, это заменяет разговор. Осмотрев мою руку, она сказала: «У тебя есть близняшка»? Я сказала: «Нет». «Это точно? – спросила она. – Потому что некоторые линии у тебя дwoятся». Ее указательный палец скользил по моей ладони: «У тебя было хорошее детство, но потом тут такой занятный излом». Она наморщила лоб, и я сказала, что просто хочу знать, сколько проживу, остальное можно пропустить. Тогда-то она и сказала нам, что у Джо руки надежные, но не чуткие, и я рассмеялась, поскольку это было не так.

В профиль он напоминает быка с американского пятицентовика – такой же лохматый и крутолобый, глаза прищурены, а взгляд задиристый, но ничего не выражающий, как у представителя какого-то вида животных, прежде бывшего хозяином природы, а теперь близкого к вымиранию. Он и сам считает себя таким: несправедливо поверженным. Втайне ему хочется, чтобы для него устроили что-то вроде заповедника, как для редкой птицы. Прекрасный Джо.

Он замечает, что я смотрю на него, и выпускает мою руку. Потом вынимает изо рта жвачку, заворачивает в фольгу, засовывает в пепельницу и складывает руки. Это значит, мне нельзя рассматривать его; и я устремляю взгляд вперед.

Первые несколько часов мы ехали по пологим холмам, встречая тут и там коров, лиственные деревья и остовы мертвых вязов, которые сменились хвойными деревьями и выбоинами от взрывов в розовом и сером граните и еще хлипкими туристскими хижинами и указателями «ВОРОТА НА СЕВЕР» – как минимум четыре городка претендуют на это звание. «Будущее на севере» – когда-то был такой политический лозунг; когда отец его услышал, он сказал, что на севере нет ничего, кроме прошлого, да и того немного. Где бы он ни был сейчас, живой или мертвый – этого никто не знает, – он больше не сочиняет эпитафии. Родители не должны стареть. Я завидую тем, кто потерял отца и мать в юном возрасте, – так их легче помнить, они уже не изменятся. Мои-то уж точно – я могла надолго уходить и возвращаться, и все оставалось по-прежнему. Для меня они жили в каком-то другом времени и занимались своими делами, надежно отгороженные стеной, прозрачной как желе, – мамонты, вмерзшие в ледник. Все, что мне было нужно, это вернуться, когда буду готова, но я продолжала откладывать встречу

– слишком многое пришлось бы объяснять.

Теперь мы проезжали поворот к карьере, выкопанному американцами. Отсюда поросший елью холм кажется совершенно обычным, но его выдают толстые силовые кабели, уходящие в лес. Я слышала, они уехали – может, это была уловка, и они вполне могли по-прежнему жить там: генералы в бетонных бункерах и рядовые солдаты в подземных казармах, где постоянно горит свет. Проверить невозможно, поскольку нам туда вход закрыт. Их пригласил остаться город, ведь они помогали его процветанию – они много пили.

– Вот где ракеты, – говорю я.

Вот где были ракеты. Но я сказала, как сказала.

– Чертовы фашистские свиньи эти янки, – говорит Дэвид в своей всегдашней манере.

Анна ничего не говорит. Ее голова покоится на спинке сиденья, концы светлых волос треплет ветер из бокового окошка, которое толком не закрывается. До этого она поочередно пела «Дом восходящего солнца» и «Лили Марлен», пытаюсь придать голосу глубокое, горловое звучание; но выходило у нее как у осипшего ребенка. Дэвид включил радио, однако ничего не мог поймать – мы были между станциями. Когда Анна запела «Сент-Луис блюз», Дэвид стал насвистывать, и она замолчала. Она моя лучшая подруга; я знаю ее два месяца.

Я наклоняюсь вперед и говорю Дэвиду:

– Бутылочный дом за следующим поворотом, потом налево.

Он кивает и сбавляет скорость. Я уже рассказывала им об этом доме – подумала, такой объект им будет интересен. Они снимают кино, Джо занимается с камерой, хотя у него совершенно нет опыта, но Дэвид говорит, что они люди нового Возрождения – сами учатся всему, что им нужно. В основном это была идея Дэвида – он называет себя режиссером: они уже придумали титры. Он хочет снимать то, что им попадется в дороге, случайные сцены, как он говорит, и таким же будет название фильма: «Случайные сцены». Когда они истратят всю пленку (всю, что смогли купить; камеру они взяли в прокате), то собираются просмотреть отснятый материал и отремонтировать его.

– Как вы поймете, что оставлять, если еще не знаете, о чем будет фильм? – спросила я Дэвида, когда он рассказал мне об этом.

Он смерил меня взглядом внимаю?мастеру?профан.

– Если сразу закроешь разум, ты все заперешь. Что тебе нужно – так это войти в поток.

Анна, которая стояла у плиты, насыпая кофе, сказала, что все, кого она знает, снимают кино, а Дэвид возразил, что это, мать твою, не причина не снимать самому.

– Ты прав, – сказала Анна. – Извини.

Но за глаза она смеется над этой его затеей и называет фильм «Случайные хрены».

Бутылочный дом построен из пластиковых бутылок, сцементированных вместе, донышками наружу, причем зеленые и коричневые образуют ромбовидные узоры, наподобие тех, что нам показывают в школе, когда учат рисовать вигвамы; вокруг дома стена, тоже из бутылок, из коричневых сложены буквы, составляющие надпись: «БУТЫЛОЧНАЯ ВИЛЛА».

– Четко, – говорит Дэвид.

И они вылезают из машины с камерой. Мы с Анной выбираемся за ними; мы разминаем затекшие руки, и Анна достает сигарету. На ней лиловая туника и белые клеши, уже испачканные машинным маслом. Я советовала ей надеть джинсы или что-то вроде, но она сказала, они ее полнят.

– Кто это сделал, господи боже, – говорит она, – подумать только.

Но я ничего не знаю об этом доме, кроме того, что он стоит тут целую вечность, и болото с переплетенными черными елями вокруг только добавляет загадочности этому нелепому монументу во славу какого-то чудного изгнанника или, возможно, добровольного отшельника, вроде моего отца, выбравшего болото потому, что больше нигде нельзя было воплотить мечту его жизни – жить

в доме из бутылок. Внутри стены что-то вроде лужайки, окаймленной пучками оранжевых ноготков.

- Класс, - восхищается Дэвид. - Правда четко.

Он обнимает одной рукой Анну и быстро прижимает к себе, показывая, как он рад, словно она имеет какое-то отношение к созданию Бутылочной виллы. Мы снова садимся в машину.

Я смотрю в боковые окошки как в телевизоры. Ничего не помню до того момента, как мы подъезжаем к границе, отмеченной указателем с надписью: «BIENVENUE»[1 - Добро пожаловать (фр.) - Здесь и далее прим. пер.] - с одной стороны и «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» - с другой. Указатель с дырками от пуль, покрасневшими от ржавчины по краям. Как всегда, охотники по осени используют его вместо мишени; сколько бы раз его ни меняли и ни перекрашивали, дырки от пуль появляются снова, словно их создает не внешнее воздействие, а какая-то внутренняя сила или инфекция, вроде плесени или фурункулов. Джо хочет заснять указатель, но Дэвид против:

- Не-е, чего ради?

Теперь мы на моей родной земле, на чужой территории. Мое горло сжимается - такой рефлекс у меня возник, когда я поняла, что люди могут произносить ничего не значащие слова, входящие в мои уши. Проще быть глухой и тупой. Глухонемым суют карточки с ручной азбукой, когда хотят спросить мелочь. Но глухонемой в любом случае должен знать буквы.

Первый запах - это лесопилка, древесная пыль, целые курганы во дворе, где лежат стопки деревянных плит. Мягкая древесина идет на бумажную фабрику, а бревна побольше сплавляют по реке, цепями связывая их кольцом так, что свободные подталкивают друг друга внутрь; их доставляют на лесопилки по желобу, грохочущему над дорогой, - здесь все как раньше. Машина проезжает под желобом, и мы оказываемся, одолев крутой поворот, в фабричном городишке, размеченном аккуратными цветочными клумбами, а в центре фонтан восемнадцатого века с каменными дельфинами и херувимом, у которого нет части лица. Выглядит как имитация, но может быть и подлинником.

- Ого! - восклицает Анна. - Какой фонтанище.

- Это все фабрика построила, - говорю я.

- Проклятые ублюдки-капиталисты, - бросает Дэвид и снова принимается насвистывать.

Я говорю ему повернуть направо, и он поворачивает. Здесь должна быть дорога, но вместо нее перед нами побитый дорожный знак с шашками - ремонтные работы.

- Ну, что теперь? - спрашивает Дэвид.

Мы не взяли карту, поскольку я была уверена, что она нам не понадобится.

- Придется мне спросить, - говорю я.

Он выезжает задним ходом на главную улицу, и мы едем до лавки с журналами и сладостями на углу.

- Должно быть, вы про старую дорогу говорите, - произносит продавщица с едва уловимым акцентом. - Она закрыта уже много лет. Что вам нужно - так это новая дорога.

Я покупаю четыре рожка ванильного мороженого, потому что спрашивать, ничего не покупая, не полагается. Продавщица берет металлический совочек и сует руку в картонную бочку. Раньше мороженое привозили в больших брикетах, бумагу с них снимали как кору, выдавливая брусочки мороженого в рожки большим пальцем. Должно быть, такой способ устарел.

Я возвращаюсь в машину и объясняю Дэвиду, как ехать. Джо говорит, что ему больше нравится шоколадное.

Ничто не остается таким, как раньше, я уже не узнаю дорогу. Я облизываю мороженое по кругу, пытаюсь больше ни о чем не думать, и отмечаю, что теперь в него добавляют морские водоросли, но я начинаю дрожать, видя, как изменилась дорога, - он не должен был позволять им такое - мне хочется развернуться и уехать назад в город, чтобы никогда не знать, что с ним случилось. Я расплачусь, это будет ужасно, никто не будет знать, что делать,

даже я сама. Я вгрызаюсь в рожок и с минуту ничего не чувствую, кроме острой как нож боли сбоку лица.

Анестезия – это такой способ: если тебе больно, придумай другую боль. Я в порядке.

Дэвид доедает свой рожок, выбрасывает в окно кончик, пахнувший картоном, и заводит машину. Мы едем через тот район городка, который возник уже после того, как я здесь была, мимо новеньких угловатых домов с верандами, как в большом городе, если не замечать розово-голубой, как ползунки младенцев, отделки, и нескольких длинных хибар дальше по дороге, с рубероидом и голыми досками на крышах. Кучка детей играет в жидкой грязи на месте газонов; почти на всех не по размеру большая одежда, отчего сами они кажутся маломерками.

– Они тут, наверно, все время трахаются, – говорит Анна. – Думаю, это церковь. – А потом вдруг добавляет: – Я ужасна, да?

– Истинный север, – бросает Дэвид, – могуч и свободен.

За домами двое темнолицых ребят постарше протягивают в нашу сторону консервные банки. Возможно, продают малину.

Мы доезжаем до бензозаправки, где продавщица сказала повернуть налево, и Дэвид радостно восклицает:

– О боже, смотрите!

И все высыпают из машины, как будто эта диковина исчезнет, если не поторопиться. Диковина – это три чучела лосей на площадке рядом с бензоколонками. На лосях одежда, как у людей, и они стоят на задних лапах: папа-лось в полушинели и с трубкой во рту, мама-лосиха в ситцевом платье и шляпке с цветами и мальчик-лось в шортиках, полосатой футболке и бейсболке, машет американским флагом.

Мы с Анной идем за ребятами. Я спрашиваю у Дэвида:

– А бензин тебе совсем не нужен?

Нехорошо просто глазеть на лосей и ничего не покупать – они здесь, как и туалетные кабинки, для привлечения клиентов.

– О, смотрите, – говорит Анна, поднося руку ко рту, – там еще одна, на крыше.

Действительно, там девочка-лосиха в юбочке с оборками и в блондинистом парике с косичками, держит красный зонтик в одном копытце. Ее ребята тоже снимают на камеру. Владелец бензозаправки стоит в майке за пыльным стеклом витрины и хмуро смотрит на нас.

Когда мы возвращаемся в машину, я говорю, словно оправдываясь:

– До этого их тут не было.

Должно быть, мой голос прозвучал как-то странно, потому что Анна повернула ко мне голову и спросила:

– До чего?

Новая дорога заасфальтирована и идет прямо – две полосы с разделительной линией посередине. Она уже начинает обрастать памятными знаками: конструкции со световой рекламой, придорожное распятие с деревянным Христом с выпирающими ребрами – чужим богом, непостижимым для меня. Под ним пара консервных банок с букетиками из ромашек, лилового чертополоха и белых гипсофил, которые можно засушивать на память или для снадобий – должно быть, здесь была авария.

Время от времени мы пересекаем старую дорогу – грязную, с уймой кочек и ухабов, и петляющую как придется, то поднимаясь, то опускаясь по склонам холмов, обходя утесы и валуны. По ней когда-то носились на предельной скорости, отец семейства знал каждый дюйм дороги и мог одолеть ее (так он говорил) с закрытыми глазами, и часто казалось, что именно так они и ездили, грохоча мимо знаков с надписью «PETITE VITESSE»[2 - Сбавьте скорость (фр.)], перескакивая через подъемники, обтирая утесы – «GARDEZ LE DROIT»[3 - Держитесь правой стороны (фр.)] – и всю сигналя; остальные члены семейства хватались за все, что могли, чувствуя, что их вот-вот стошнит, несмотря на ремень безопасности, пристегнутый мамой, и наконец они блевали на обочине, на голубые астры и розовый кипрей, если отец вовремя

останавливался, или прямо из окошка на ходу, или в бумажные пакеты, которыми он предусмотрительно запасался, если спешил и категорически не собирался останавливаться.

Так не годится – я не могу говорить об этих людях как о какой-то чужой семье – нужно заставить себя говорить от первого лица. Все равно, увидев старую дорогу, вьющуюся в отдалении за деревьями (выбоины и следы колес уже едва различимы за травой и молодыми побегами, а скоро совсем скроются из вида), я невольно лезу в сумку за мятными пастилками. Но они мне больше не нужны, пусть асфальт новой дороги и сменяется гравием, («Наверное, выбрали не того парня последний раз», – усмехается Дэвид), а знакомый запах дорожной пыли, поднимающейся со всех сторон, смешивается с запахом бензина и обивки салона машины.

– Ты вроде говорила, это караул, – бросает Дэвид через плечо, – а тут ничего так.

Мы уже почти в деревне, там, где сходятся две дороги, теперь расширенные – скала взорвана, деревья выкорчеваны, корни наружу, хвоя краснеет за плоским утесом, где написаны краской предвыборные лозунги, один поверх другого, одни – выцветшие и стершиеся, другие – совсем свежие, желтые и белые: «VOTEZ GODET, VOTEZ O'BRIEN»[4 - Голосуйте за Годе, Голосуйте за О'Брайена (фр.)], а еще там сердечки, инициалы, всякие слова и реклама: САЛАТЫ ТМ, КОТТЕДЖИ «ГОЛУБАЯ ЛУНА» 1/2 МИЛИ, QUEBEC LIBRE[5 - Свободу Квебеку (фр.)], ХУЙ ВАМ, BUVEZ COCA COLA GLACE[6 - Пейте кока-колу со льдом (фр.)], ИИСУС СПАСАЕТ – мешанина требований на разных языках, если просветить это рентгеном, откроется вся местная история.

Но здесь явно какой-то подвох: мы приехали слишком быстро, и я чувствую, что меня лишили чего-то, как будто невозможно по-настоящему сюда попасть, если не помучаешься хорошенько; как будто первый вид на озеро – мы как раз видим его, печальное и суровое, как искупление, – должен открыться мне сквозь слезы и тошноту.

Глава вторая

Мы сползаем с последнего холма, гравий выскакивает из-под машины, и внезапно перед нами возникает то, чего не должно быть: «МОТЕЛЬ, БАР BI?RE[7 - Пиво (фр.)] ПИВО» значится на вывеске, причем с неоновой подсветкой – кто-то расстарался, но все без толку – рядом нет ни одной машины, зато, как сообщает табличка, «ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА». С виду типичный дешевый мотель, длинное серое оштукатуренное здание с алюминиевыми дверьми; земля вокруг комковатая и влажная, еще не заросшая сорняками.

– Давай немного затаримся, – обращается к Джо Дэвид.

Он съезжает с дороги, мы все выходим из машины и направляемся к двери, но я останавливаюсь – это лучшая возможность оторваться от них – и говорю:

– Вы идите, возьмите пива или еще чего-нибудь, а я подойду где-то через полчаса.

– Хорошо, – кивает Дэвид.

Он знает, когда лучше не спорить.

– Хочешь, побуду с тобой? – предлагает Джо.

Но, когда я отказываюсь, его облегчение буквально просвечивает сквозь бороду. Они трое исчезают за сетчатой дверью бара, а я спускаюсь с холма.

Мне нравятся эти ребята, я им доверяю, не припомню никого, кто бы нравился мне больше, но прямо сейчас мне хочется, чтобы их здесь не было. Хотя они нужны мне: без машины Дэвида и Анны я бы сюда ни за что не добралась – ни автобусы, ни поезда в эти края не ходят, а автостопом я не езжу. Ребята оказывают мне услугу под видом того, что им это по приколу, им нравится путешествовать. Но то, почему здесь я, смущает их, они этого не понимают. Они давно все решили со своими родителями, как и положено: Джо никогда не вспоминает ни мать, ни отца, Анна говорит, что ее родители ничтожества, а Дэвид называет своих свинтусами.

Когда-то здесь был крытый мост, но в этих местах, на севере, не берегут ничего такого. Его снесли за три года до того, как я уехала, – хотели улучшить плотину,

и вместо него построили бетонный мост, громадный, монументальный, резко контрастирующий с обликом деревни. Плотина подчиняет себе озеро: шестьдесят лет назад подняли уровень воды, чтобы в любое время можно было сплавливать лес по узкому речному устью на лесопилку. Но теперь здесь мало что сплавливают. Несколько человек работают на железной дороге, по которой проходит один товарняк за сутки; пара семей держит магазины: в том, что поменьше, раньше говорили по-английски, а в большем – нет. Остальные живут за счет туристов – бизнесменов в клетчатых рубашках, еще сохранивших замятины от целлофановых пакетов, – а их жены, если таковые есть, сидят на крылечках однокомнатных домиков, за сеткой от мошкары, и сетуют на жизнь, пока их мужья играют в карты на рыбалке.

Я останавливаюсь и склоняюсь через перила к реке. Ворота шлюза открыты, по бурным валунам шумно перекачиваются пенистые буруны. Этот шум воды – одно из первых моих воспоминаний, он предупредил моих родителей. Была ночь, я лежала на дне лодки; они выдвинулись от деревни, но поднялся плотный, совершенно непроглядный туман, воду едва было видно. Они нашли береговую линию и поплыли вдоль нее; стояла мертвая тишина, и они услышали вой, который приняли за волчий, приглушенный лесом и туманом, – это значило, что они взяли нужный курс. Затем зашумели речные пороги, и им стало ясно, где они, и тут же их понесло течение. Они двигались в обратную сторону, а выли деревенские собаки. Если бы лодка перевернулась, мы бы погибли, но родители не волновались, не поддавались страху; у меня в памяти засел этот белесый туман, плеск воды, плавное покачивание и ощущение полной безопасности.

Анна верно сказала: у меня было хорошее детство; оно пришлось на самый разгар войны, запечатленной на черно-белой кинохронике в помехах, которой я не видела: бомбы и концлагеря, вожди в военной форме, оружие что-то толпам, боль и напрасная смерть, флаги полощутся в такт гимнам. Но я узнала об этом только потом, когда мне рассказал брат. А в то время жизнь казалась мирной.

И вот теперь я вернулась в деревню, иду по ней, ожидая, когда меня захлестнет волна ностальгии, а горстка неприметных строений озарится внутренним светом, словно рождественский вертеп, как я часто представляла; но я не чувствую ничего такого. Деревня не стала больше, а детей, вероятно, вывезли на это время в город. Все те же двухэтажные каркасные дома с настурциями в окнах и ровными углами крыш, между которыми протянуты веревки с бельем, словно воздушные змеи; хотя какие-то дома подновили и перекрасили. Белая церквушка на скалистом склоне холма стоит бесхозной, краска шелушится, окно

разбито – старого священника, должно быть, не стало. В смысле, он умер.

Вдоль берега у государственной пристани пришвартовано много лодок, но машин особо не видно: лодок больше, чем машин, – плохой сезон. Я пытаюсь понять, которая из этих машин – моего отца, но понимаю, что уже не знаю, какая у него может быть машина.

Я дохожу до поворота к дому Поля, здесь грязно, дорога изрыта колесами, она идет через рельсы и дальше, через заболоченное поле; там, где особенно мокро, лежат бревна. Несколько мошек вьются вокруг – июль месяц, – сезон спаривания уже позади, но, как обычно, кто-то запаздывает.

Дорога забирает в гору, и я карабкаюсь по ней по задворкам домов, построенных Полем для своего сына, и зятя, и еще одного сына – у него тут целый клан. Дом Поля – образец для остальных: желтый с каштановой отделкой, приземистый фермерский дом; хотя земля здесь для сельского хозяйства неподходящая, слишком каменистая, а если есть какая-то почва, в ней полно песка. Вознамерившись стать настоящим фермером, Поль завел корову, но молоко в бутылках решило ее судьбу. Навес, под которым когда-то она жила с лошадьми, теперь переделан в гараж.

За домом стоят две машины 1950-х годов без колес, розовая и красная, поднятые на деревянные чурбаки; вокруг валяются ржавые детали еще более старых машин: как и мой отец, Поль копит всякую всячину. Над домом пристроено что-то вроде церковного шпиля, сделанного из деталей от машин, сваренных вместе; на шпиле крепится телеантенна, а на ней – громоотвод.

Поль у себя, ковыряется на грядках возле дома. Он выпрямляется, заметив меня, лицо у него жесткое и, как всегда, непроницаемое, словно закрытый саквояж; я не думаю, что он узнал меня.

– Bonjour monsieur[8 - Добрый день, месье (фр.)], – говорю я, подходя к забору.

Он делает шаг в мою сторону, и вид у него все еще настороженный.

– Вы меня не помните? – я улыбаюсь. – Вы были так добры, что написали мне.

И снова меня словно что-то давит, сжимает горло; но Поль говорит по-английски, он бывал за границей.

- А, - кивает он, не узнавая меня, но догадываясь, кем я могу быть. - Bonjour.

Он улыбается мне и сцепляет руки перед собой как священник или фарфоровый китайский болванчик, но больше ничего не говорит. Мы стоим на месте, по разные стороны забора, наши лица застыли в выражении доброжелательности, изогнутые губы охвачены скобками щек, и наконец я спрашиваю:

- Он вернулся?

Тогда его подбородок опускается, а голова покачивается из стороны в сторону.

- А... Нет.

Он бросает взгляды по сторонам, укоризненные, и смотрит себе под ноги, на картофельный куст у левого ботинка. Затем вскидывает голову и весело говорит:

- Еще нет, ай? Но, может, скоро. Тфой отец, он знает глухомань.

В дверях кухни появляется мадам, и Поль переходит на французский, обращаясь к ней, гнусавя и картавя, так что я его не понимаю, потому что ничего не помню, кроме общих фраз из школьного курса. Еще, может, народные песни и рождественские гимны. В старших классах я учила отрывки из Расина и Бодлера, но здесь мне это не поможет.

- Ты должна зайти, - говорит он мне, - и принять чай.

Он наклоняется и открывает щеколду на деревянных воротах. Я захожу и направляюсь к крыльцу, где меня ждет мадам, протягивая руки в порыве радушия, улыбаясь и скорбно качая головой, словно оплакивая меня как невинно обреченную.

Мадам кипятит чай на новой электрической плите, над которой висит голубая керамическая Богоматерь с розовым младенцем; взглянув на плиту по пути

через кухню, я увидела в этом некое предательство – раз вы живете в деревне, живите по-деревенски.

Мы сидим бок о бок на крыльце, обтянутом сеткой, и глядим на озеро, держа на коленях чашки с чаем и покачиваясь в креслах-качалках; мне дали запасную подушку, на которой вышит Ниагарский водопад. У нас в ногах лежит на плетеном коврике черная с белым колли, точь-в-точь как та, что нагоняла страх на меня в детстве, а может, это ее потомок.

Мадам, у которой нет ни груди, ни талии, одета в длинное платье, черные чулки и фартук с передником, на Поле брюки с высокой талией на подтяжках и фланелевая рубашка с закатанными рукавами. Меня напрягает их поразительное сходство с резными фигурками канадских французов, которые продаются в сувенирных магазинах, но все, конечно, наоборот – это фигурки похожи на них. Мне интересно, на кого, по их мнению, похожа я, – они могут посчитать странными или даже аморальными мои джинсы, трикотажную рубашку и жеваную наплечную сумку, хотя подобные вещи могли стать вполне привычными в деревне благодаря туристам и телевизору; к тому же мне можно сделать скидку, поскольку мою семью всегда считали странной, и не только потому, что мы anglais[9 - Англичане (фр.)].

Я поднимаю чашку, они пристально смотрят на меня: я обязательно должна сказать что-то про чай.

– Tr?s bon[10 - Очень хорош (фр.)], – произношу я, обращаясь к мадам. – Delicieux[11 - Восхитительный (фр.)].

Меня охватывает сомнение: вдруг чай у французов женского рода?

Я вдруг вспоминаю, как нашей маме приходилось наносить визиты мадам, когда отец ходил к Полю. Отец с Полем оставались снаружи, обсуждая лодки, или моторы, или лесные пожары, или одну из своих экспедиций, а моя мама и мадам сидели в доме в креслах-качалках (у мамы в кресле была подушка с Ниагарским водопадом), отчаянно пытаясь вести светскую беседу. Ни одна из них не знала больше пяти слов на чужом языке, и после первых бонжуров обе бессознательно повышали голоса, словно разговаривали с глухими.

– Il fait beau[12 - Хорошая погода (фр.)], – выкрикивала моя мама, причем в любую погоду, а мадам натянуто улыбалась и говорила:

– Pardon? Ah, il fait beau, oui, il fait beau, bon oui[13 - Простите? А, хорошая погода, да, хорошая погода, ну да (фр.)].

Добившись ясности по первому вопросу, они принимались старательно думать, раскачиваясь в креслах, что бы еще сказать.

– Как ваши тела? – кричала мадам.

И мама, расшифровав вопрос, отвечала:

– В порядке, дела в порядке. – Затем она спрашивала то же самое: – А как ваши дела, мадам?

Но мадам не находила, что ответить, и обе они, продолжая улыбаться, украдкой поглядывали в окно с сеткой в ожидании мужчин, которые могли бы выручить их.

Мой отец тем временем давал Полю капусту или стручковую фасоль со своего огорода, а Поль, в свою очередь, одаривал его своими помидорами или латуком. Учитывая, что они выращивали на огородах одно и то же, этот овощной бартер выполнял чисто ритуальную функцию: после него мы понимали, что визит официально окончен.

Теперь мадам помешивает чай и вздыхает. Она что-то говорит Полю, и он обращается ко мне:

– Твоя мать, она была хорошей женщиной, мадам говорит, это очень грустно; и тоже молодая.

– Да, – произношу я.

Мама и мадам были примерно ровесницами, но никто бы не назвал мадам молодой; впрочем, моя мама никогда не была такой толстой, как мадам.

Я навещала маму в больнице, куда она согласилась лечь, только когда уже не могла ходить; мне сказал это один из врачей. Должно быть, она скрывала боль несколько недель, убеждая отца, что у нее просто болит голова, это было на нее похоже. Она терпеть не могла больниц и врачей; вероятно, боялась, что они станут проводить над ней опыты, поддерживая в ней жизнь до последнего с помощью трубок и иголок, пусть даже все это не даст шансов на выздоровление – больные всегда это понимают; так врачи в итоге и сделали.

Они стали колоть ей морфин, она говорила, что у нее рябит в глазах. Она очень похудела и выглядела ужасно постаревшей, ее крючковатый нос стал похож на клюв, готовый порвать кожу, скрюченные руки на простыне напоминали птичьи лапы, ищущие жердь. Она пристально смотрела на меня ясными и пустыми глазами. Не уверена, что она узнавала меня: она не спрашивала, почему я ушла из дома или где была все это время, хотя она бы в любом случае вряд ли стала спрашивать меня об этом, поскольку всегда считала, что задавать столь личные вопросы – бестактно.

– Я не пойду на твои похороны, – сказала я.

Мне пришлось низко наклониться к ней – она слышала только одним ухом. Я хотела, чтобы она знала это заранее и поняла меня.

– Мне они никогда не нравились, – сказала она, делая паузы между словами. – Нужно носить шляпу. Алкоголь я не люблю.

Должно быть, она говорила о церкви или вечеринках с коктейлями. Она подняла руку, медленно, как под водой, и коснулась своей макушки; там, где топорщился пучок белых волос.

– Я не взяла радио. Там идет снег?

Я увидела на прикроватном столике, рядом с цветами, хризантемами, ее дневник; она вела дневник каждый год. Все, о чем она писала, это погода или дела, которыми занималась в тот или иной день: ни размышлений, ни ощущений. Она сверялась со своими дневниками, когда хотела сравнить годы, решить, была весна поздней или ранней, было ли лето сырым. Меня взяла злоба при виде дневника в этой комнате без окон, где от него не было никакой пользы; я подождала, пока ее глаза закроются, и засунула дневник в свою наплечную

сумку. Выйдя из больницы, я пролистала его – думала, там могло быть что-то обо мне, но страницы оказались чистыми, не считая дат, которые она проставила несколько месяцев назад.

– Поступай, как считаешь правильным, – сказала она, не открывая глаз. – На улице снег?

...Мы все сидим и качаемся на веранде. Мне хочется спросить Поля об отце, но это он должен начать разговор, поделиться со мной новостями. Может, он не хочет этого; а может, деликатничает, ждет, когда я буду готова. Наконец я спрашиваю:

– Что с ним случилось?

Поль пожимает плечами.

– Просто пропал, – отвечает он. – Я иду к нему как-то раз повидать, дверь открыта, лодки на месте, я думаю, может, он отошел где-нибудь рядом, и я жду немного. На следующий день я снова иду, все то же самое, Эль начинать волноваться, где он, я не знаю. Так что я пишу тебе, он оставил твой *caisse postale*[14 - Почтовый ящик (фр.)] и ключи, я закрываю его место. Его машина, она тут, со мной.

Он указывает за спину, в сторону гаража. Мой отец доверял Полю, говорил, что Поль может построить или починить что угодно. Как-то раз их настигла трехнедельная буря с дождем, и отец сказал, что, если вы с кем-то можете провести три недели в сырой палатке и не убить друг друга, значит, это хороший человек. Поль олицетворял для него идеал простой жизни; но для Поля такая жизнь была суровой необходимостью.

– Вы смотрели на острове? – спрашиваю я. – Если лодки на месте, он не мог покинуть остров.

– Я смотрю, конечно, – говорит Поль. – Я говорю полиции дальше по дороге, они смотрят кругом, никто ничего находят. Твой муж тоже здесь?

Вопрос прозвучал неожиданно.

– Да, он здесь, – говорю я.

Эта ложь выскочила непроизвольно. Поль имел в виду, что такими вещами должен заниматься мужчина. Джо сгодится в качестве дублера. Мое семейное положение все осложняет – эти люди, видимо, считают, что я замужем. Но я спокойна на этот счет, у меня кольцо, я его никогда не выбрасывала, оно помогает при общении с домохозяйками. После свадьбы я послала родителям открытку, и они должны были рассказать об этом Полю; о разводе они ему явно не говорили. Здесь не в ходу такое слово, как развод, и не стоит огорчать их.

Я жду, когда мадам спросит меня о ребенке, я к этому готова, пусть спрашивает – скажу, что оставила его в городе; это будет чистой правдой, только речь о другом городе, в котором живет мой муж, бывший муж, и ребенку лучше с ним.

Но мадам не касается этой темы, она берет еще кусочек сахара с подноса рядом с ней, и перед моим мысленным взором вдруг возникает бывший муж, в каком-то кафе, не городском, а придорожном, по пути куда-то или откуда-то, к какой-то цели или встрече. Он отдирает от сахара бумажку с рекламой и бросает ее в чашку, я что-то говорю, и его губы снисходительно кривятся – должно быть, все это было еще до появления ребенка. Он улыбается, и я тоже, думая о кружочке соленого огурца, приставшем сверху к его клубному сэндвичу. Круглая памятная дощечка на стене супермаркета или автостоянки, отмечающая место, где когда-то стояло здание, в котором произошло малозначительное событие, – просто смешно. Он накрывает мою руку своей, он часто так делает, но от него легко избавиться, и чем дальше, тем легче. У меня нет на него времени, я переключаюсь на другие проблемы.

Отпиваю чай и покачиваюсь, у меня в ногах потягивается собака, озеро за окном покрывается рябью от разгулявшегося ветра. Мой отец просто-напросто исчез, растворился. Когда я получила письмо Поля – «Ваш отец пропал, никто не может найти его», – мне с трудом верилось в такое, но это оказалось правдой.

Раньше на стене веранды висел барометр в виде деревянного домика с двумя дверцами, за которыми были мужчина и женщина. Перед ясной погодой из своей дверцы показывалась женщина в длинном платье с передником, а перед дождем она скрывалась в домике, и вместо нее появлялся мужчина с топором. Когда мне первый раз объяснили что к чему, я решила, эти человечки управляют погодой, а не реагируют на нее. Мои глаза выискивают домик, мне нужно предсказание, но барометра нигде нет.

– Думаю спуститься к озеру, – говорю я.

Поль поднимает руки ладонями наружу.

– Мы смотрим уже два, три раза.

Но они наверняка что-то упустили, я чувствую, что сама все увижу другими глазами. Возможно, когда мы придем туда, отец уже вернется, где бы он ни пропал, и будет сидеть в хижине, ожидая нас.

### Глава третья

По пути обратно к мотелю я делаю крюк к берегу, где должны говорить по-английски: нам понадобятся какие-то продукты. Я поднимаюсь по деревянным ступенькам, мимо дремлющей лохматой дворняги, привязанной к перилам обрывком бечевки. Ручка сетчатой двери магазина украшена эмблемой сигарет «Черный кот»; я открываю дверь, и меня окутывают запахи магазина: слабый сладковатый аромат сдобы в картонных коробках и прохладительных напитков из холодильника. Недолгое время здесь находилась почта – на стене висит табличка «DEFENSE DE CRACHER SUR LE PLANCHER»[15 - Плевать на пол запрещено (фр.).] со штампом с гербовой печатью.

За кассой стоит женщина примерно моих лет, но под ее одеждой явно есть бюстгальтер, у нее светло-русые усики; волосы с бигуди затянуты розовой сеткой, и еще на ней свободные брюки и вязаная безрукавка. Старый священник определенно умер, он не одобрял женщин в брюках, только в длинных бесформенных юбках и темных чулках, и требовал, чтобы они не оголяли рук в церкви. Шорты были вне закона, и многие из этих женщин проводили всю свою жизнь рядом с озером, так и не научившись плавать, потому что стыдились надевать купальник.

Женщина за кассой смотрит на меня, изучающе и без улыбки, и двое мужчин за стойкой с прическами под Элвиса – утиная гузка с затылка и лоснящийся кок надо лбом – прерывают разговор и тоже смотрят на меня, не убирая локтей со стойки. Я мнусь: может, порядки изменились и здесь больше не говорят по-

английски.

- Avez-vous du viande h?che?[16 - У вас есть рубленое мясо? (фр.)] - спрашиваю я кассиршу, краснея от своего произношения.

Она ухмыляется, как и двое мужчин, но они смотрят не в мою сторону, а друг на друга. Я понимаю, что сглупила - нужно было притвориться американкой.

- Амбургеры? - уточняет кассирша. - О, да, масса. Хотите?

Она произносит «хотите» с небрежной легкостью, не оглушая первый слог, давая мне понять, что может говорить на правильном английском, если хочет. Они живут вблизи границы.

- Один фунт, - прошу я. - Нет, два фунта.

И краснею еще больше, поскольку меня слишком легко раскусили, и теперь они потешаются надо мной, а я даже не могу показать им, что понимаю комичность ситуации. Кроме того, я с ними согласна: если живешь в другой стране, говори на местном языке. Но я здесь не живу.

Кассирша берет тесак, отрубает кусок замороженного мяса и взвешивает.

- Опатьки, - говорит она, передразнивая мой школьный выговор.

Двое мужчин хихикают. Я утешаю себя тем, что вспоминаю человека из правительства, который был на открытии выставки ремесленных поделок: настенные драпировки из бисера, тканые коврики, каменные наборы посуды; Джо решил пойти туда, чтобы потом повозмущаться, что его работы не приняли. Этот человек был, похоже, атташе по культурным связям, а может, послом; я спросила его, знает ли он регион страны, где я выросла, и он покачал головой и сказал: «Des barbares, они не цивилизованы»[17 - Варвары (фр.)]. Тогда это меня задело.

Я беру баллончик спрея против насекомых для ребят, несколько яиц и бекон, хлеб и масло, какие-то консервы. Все здесь дороже, чем в городе; больше никто не держит ни кур, ни коров, ни свиней - все это ввозится из более плодородных

областей. Хлеб упакован в вощеную бумагу, tranche[18 - В нарезке (фр.)].

Мне хочется выйти оттуда задом наперед, чтобы никто не пялился мне в спину; но я заставляю себя выйти по-человечески, причем медленно.

Раньше в деревне был только один магазин. Он располагался в передней части жилого дома, и им управляла старуха, которую тоже называли мадам: в те времена у женщин не было имен. Мадам продавала нам дешевые леденцы цвета хаки, которые нам запрещали есть, но главное, что возвышало ее в наших глазах, – это то, что у нее была только одна рука. Другая рука оканчивалась мягкой розовой культей, наподобие слоновьего хобота, и мадам умела рвать нить на свертках, обмотав ее вокруг культи и потянув. Эта рука, лишенная кисти, составляла для меня большую тайну, почти такую же невероятную, как Иисус. Мне хотелось знать, каким образом она лишилась руки (возможно, она сама отрезала ее) и где теперь эта рука, а главное, могла ли моя рука когда-нибудь стать такой; но я никогда не спрашивала мадам ни о чем подобном, поскольку боялась возможных ответов. Спускаясь по ступенькам, я пытаюсь вспомнить о ней что-нибудь помимо ее руки: какой она была, каким было ее лицо, – но вижу только внушающие трепет леденцы, недоступные в своем стеклянном реликварии, и ее руку, наделенную неведомой чудодейственной силой, подобно пальцам святых или частицам мощей первых мучеников, таким, как глаза на блюде, отрезанные груди, сердце с буквами на нем, сияющими как гирлянда сквозь аккуратную дыру в груди – всем этим образам из альбома по искусству.

Я нахожу остальных в маленькой зябкой комнате с табличкой «БАР»; кроме них, там никого. На оранжевом пластиковом столике перед ними шесть бутылок пива и четыре стакана. С ними сидит рябой парень с такой же прической, как у тех двоих в магазине, только он блондин.

Дэвид, увидев меня, машет рукой: он чему-то радуется.

– Возьми пива, – говорит он. – Это Клод, его отец владеет этой пивнушкой.

Клод встает с угрюмым видом и бредет за пивом для меня. Под барной стойкой красуется грубо вырезанная деревянная рыба с красными и синими пятнами, вероятно, намекающими на пятнистую форель; покатая рыбья спина упирается в стойку из фальшивого мрамора. Над баром телевизор, выключенный или

неисправный, и неперенная картинка в позолоченной лепной рамке: увеличенная фотография ручья с деревьями, стремнинами и с одиноким рыбаком. Все это скорее имитация других мест, более южных, также имитирующих смутные воспоминания об охотничьем домике английского джентльмена девятнадцатого века, с трофейными головами и мебелью, отделанной оленьими рогами, – у королевы Виктории имелся такой. Но если это приносит прибыль, почему бы нет?

– Клод нам сказал, бизнес не катит в этом году, – сообщает Дэвид. – Это оттого, что прошел слух, будто рыба в озере повывелась. Мужики уходят на другие озера, батя Клода возит их на своем гидроплане – скажи, четко? Но он говорит, кое-кто выходил весной с неводом и наловил там множество всякой рыбины, нехилых размеров, просто рыба теперь шибко умная.

Дэвид переходит на провинциальный говор; он просто прикалывается, пародируя себя самого – он рассказывал нам, что говорил так в пятидесятые, когда хотел стать священником и продавал Библии, расхаживая по домам, чтобы продержаться в духовной семинарии: «Эй, леди, хочешь купить скабресную книжку?» Хотя, похоже, сейчас он это делает неосознанно, или, может, для Клода, желая показать ему, что он тоже выходец из народа. А может, он упражняется в искусстве общения, которое преподает на вечерних курсах там же, где работает Джо; это образовательные курсы для взрослых. Дэвид их называет оборзевательными курсами; он получил эту работу благодаря тому, что одно время был диктором на радио.

– Есть новости? – спрашивает Джо бесцветным голосом, давая понять, что предпочел бы, чтобы я воздержалась от любых эмоций, что бы там ни случилось.

– Нет, – говорю я, – ничего нового.

Голос ровный, спокойный. Пожалуй, это и понравилось ему во мне, видимо, было что-то такое, хотя я не могу восстановить в памяти сцену нашего знакомства – нет, могу: это произошло в магазине, я покупала новые кисточки и спрей для фиксации. Он спросил, живу ли я здесь, и мы пошли на угол за кофе, только я взяла «Севен ап». Что впечатлило его в тот раз – он даже сказал мне потом об этом (добавив, что я крутая), – так это то, как я снимала и потом надевала одежду – очень плавно, словно не испытывала никаких эмоций. Но я действительно ничего не испытывала.

Клод возвращается с пивом, я говорю «спасибо» и поднимаю на него глаза, и тогда его лицо разглаживается и меняется – когда я видела его в прошлый раз, ему было лет восемь; он продавал червей в ржавых консервных банках рыбакам у государственной пристани. Теперь ему не по себе – он понял, что я узнала его.

– Я бы хотела спуститься к озеру на пару дней, – говорю я, обращаясь к Дэвиду, потому что машина его. – Посмотреть там, если можно.

– Отлично, – кивает Дэвид. – Я собираюсь выловить одну из этих умных рыбин.

Он взял с собой удочку, одолженную у кого-то, хотя я его предупреждала, что случай попробовать ее в деле может и не представиться: если бы мой отец все-таки объявился, мы бы уехали обратно, не дав ему знать, что были здесь. Если он в порядке, я не хочу его видеть. В этом нет смысла, ведь меня так и не простили, родители не поняли моего развода; я даже не думаю, что они поняли, почему я вышла замуж, и это было неудивительно, поскольку я сама себя не понимала. Но их определенно огорчило то, насколько внезапно я это сделала, а затем убежала, оставив мужа и ребенка, будто сошедших с цветных снимков глянцевого журнала. Оставить своего ребенка – подобный грех не искупить, и бесполезно пытаться объяснить, почему он не был на самом деле моим. Но я признаю, что поступила глупо, а глупость – то же самое, что зло, если судить по результатам, и у меня не было никаких оправданий, у меня с этим всегда было туго. Другое дело мой брат – он готовил их заранее, до того как что-то натворит; это разумно.

– О боже, – говорит Анна. – Дэвид думает, он великий белый охотник.

Она его дразнит, и довольно часто; но он не слышит, он встает, и Клод отводит его в сторону, чтобы выписать разрешение на рыбалку – похоже, Клод заведует разрешениями. Когда Дэвид возвращается, мне хочется спросить, сколько он заплатил, но он такой довольный, что я не хочу портить ему настроение. Клод тоже доволен.

Мы узнаем от Клода, что можем нанять Эванса, владельца кабинок «Голубая луна», чтобы он отвез нас на озеро. Поль отвез бы нас бесплатно, он мне предлагал, но мне было бы не по себе; кроме того, я уверена, ему бы не понравилась бесформенная борода Джо, а также усы и волосы Дэвида в духе «трех мушкетеров». Это просто стиль, вроде армейской стрижки, но Поль мог

увидеть в этом что-то опасное, призыв к мятежу.

Дэвид съезжает с дороги и движется по двум колеям с каменным бордюром по центру, скребущим по дну машины. Мы тормозим перед кабинкой с табличкой «АДМИНИСТРАЦИЯ»; Эванс на месте, это здоровый немногословный американец в клетчатой рубашке, фуражке и плотной вязаной куртке с орлом на спине. Он знает, где рыбачил мой отец, все пожилые проводники знают каждую хижину на озере. Он передвигает недокуренную сигарету в угол рта и говорит, что отвезет нас туда за пять долларов – это десять миль; еще за пять он заберет нас обратно через два дня, утром. Тогда у нас еще будет время, чтобы доехать до города. Он, конечно, слышал об исчезновении, но молчит об этом.

– Матерый мужик, да? – говорит Дэвид, когда мы выходим.

Он радуется жизни, думая, что вот она, реальность: теневая экономика и местные старожилы с проседью в волосах, словно живые иллюстрации к эссе о Великой депрессии. Он прожил четыре года в Нью-Йорке и увлекся политикой, он учился на кого-то; это было в шестидесятые, точнее сказать не могу. Прошлое моих друзей для меня окутано туманом, как и для них самих – у каждого из нас могли быть провалы в памяти по несколько лет, и никто на это не обращал внимания.

Дэвид подогнал машину к пристани, и мы выгрузили вещи – рюкзаки с одеждой, камеру с оснащением, чемодан «Самсонит», в котором была вся моя карьера, полдюжины бутылок «Ред кэпс» из мотеля и бумажный пакет с едой. Мы забираемся в лодку, потертый деревянный баркас; Эванс заводит мотор, и мы медленно отчаливаем. То и дело на глаза попадаются летние домики, словно грибы; должно быть, вдоль мощеной дороги.

Дэвид сидит впереди, рядом с Эвансом.

– Рыбные тут места? – спрашивает он, по-простому, по-свойски, втираясь в доверие.

– Где как, где как, – говорит Эванс, никуда не показывая.

Затем он переключает мотор на высокую передачу, и я их больше не слышу.

Я жду, пока мы окажемся на середине озера. В нужный момент оглядываюсь, как всегда делаю, и вижу деревню, внезапно такую далекую и ясную: дома уменьшаются и жмутся друг к дружке, белая церковь выделяется на фоне темных деревьев. Ко мне приходит чувство, которого я тщетно ожидала раньше, – тоска по дому, по месту, где никогда не жила, – я теперь достаточно далеко; и вот деревня словно сжимается, превращаясь в мыс, мы огибаем его, и он исчезает вдали.

Мы втроем на заднем сиденье, Анна рядом со мной.

– Это хорошо, – говорит она мне проницательным голосом, стараясь перекрыть рев двигателя, – хорошо, что мы выбрались из города.

Но когда я поворачиваюсь к ней, чтобы ответить, то вижу слезы у нее на щеке и не могу понять, в чем дело, ведь она такая хохотушка. Потом до меня доходит, что это не слезы, а первые капли дождя. Наши плащи в рюкзаках; я не заметила, как напоззли тучи. Хотя вымокнуть нам не грозит – на лодке мы будем на месте через полчаса; раньше, на более тяжелых лодках с моторами послабее, дорога занимала два-три часа, в зависимости от ветра. В городе люди спрашивали у мамы: «Вы не боитесь? Вдруг что-то случится?» Они прикидывали, сколько времени потребуется, чтобы попасть к врачу в случае чего.

Я мерзну и передергиваю плечами; мне на кожу падают капли. Береговая линия расходится и снова сходится; в сорока милях отсюда другая деревня, а между ними ничего, кроме запутанного лабиринта: низкие холмы, извилисто выступающие из воды, ветвящиеся бухты, полуострова, переходящие в острова, перешейки, ведущие к другим озерам. На карте или аэрофотоснимке водный массив раскидывается во все стороны словно паук, но из лодки видна лишь малая его часть, внутри которой ты находишься.

Озеро коварно, погода то и дело меняется, ветер быстро крепчает; люди тонут каждый год: перегруженные лодки или пьяные рыбаки, влетающие на полном ходу в топляки, полусгнившие старые коряги, питавшиеся водой и почти не выступающие над поверхностью. Их немало остается после лесосплава, особенно с тех пор, как подняли уровень воды. Из-за изгибов береговой линии легко сбиться с пути, если ты не запомнил ориентиры, и я высматриваю их: бочкообразный холм, мыс с мертвой сосной, пеньки от спиленных деревьев, торчащие на мелководье. Я не доверяю Эвансу.

Но пока он плывет правильно, мы приближаемся к моей территории: два коротких поворота, пролив между гранитными берегами, а дальше в бухту пошире. Полуостров остался на прежнем месте, выдаваясь от основного берега, а дома совсем не видно из-за деревьев, хотя я знаю, что он там; мой отец всегда был мастером камуфляжа.

Эванс обходит вокруг мыса и замедляется перед мостками. Мостки покосились – каждую зиму лед что-то от них забирает, а вода наносит ил и точит дерево; мостки много раз чинили, как только могли, но это те же мостки, с которых упал мой брат и чуть не утонул.

Его держали в загоне из проволочной сетки, который соорудил отец, – по сути, это была большая клетка, или небольшой вольер: с деревьями, качелями, валунами, песочницей. Ограда была достаточно высокой, и брат не мог перелезть через нее, но там имелась калитка, и однажды он научился открывать ее. Мама была одна в доме; она выглянула из окна, проверяя, как он там, и не увидела его. День был тихий, ветер не шумел, и она услышала плеск воды. Она побежала к мосткам, но там никого не было, тогда она дошла до края и посмотрела вниз. Мой брат был под водой, лицом вверх, с открытыми глазами и без сознания; он плавно уходил под воду, выпуская пузыри изо рта.

Это случилось до моего рождения, но я помню все так отчетливо, словно видела сама, и, возможно, так оно и было: я верю, что младенец находится в животе матери с открытыми глазами и может видеть сквозь кожу, как лягушка сквозь стекло банки.

#### Глава четвертая

Мы разгружаем багаж, пока Эванс держит мотор на холостом ходу. Получив деньги от Дэвида, он равнодушно кивает нам и отчаливает, затем разворачивает лодку и огибает мыс, оглашая окрестности гудением, переходящим в жужжание и стихающим вдали по мере того, как нас разделяет все больше холмов. Озеро накатывает на берег, волны уходят в песок, оставляя тонкую переливчатую пленку бензина, лилово-розово-зеленую. Здесь все тихо, ветер улегся, и озеро спокойное, серебристо-белое, впервые за весь день (и за долгое время, за много лет) мы не слышим шума моторов. Мои уши и тело покалывает после вибрации,

как ступни после катания на роликах.

Остальные бесцельно стоят; они как будто ждут, что я им скажу, как действовать дальше.

– Мы отнесем вещи наверх, – говорю я.

И предупреждаю всех насчет мостков: они скользкие от дождя, пусть даже еле морозящего; кроме того, какие-то доски могли размокнуть и стать ненадежными.

Мне хочется закричать: «Привет!» Или: «Мы здесь!» Но я этого не делаю, не хочу услышать тишину в ответ.

Беру рюкзак, прохожу по мосткам, спускаюсь на землю и иду по тропинке в сторону хижины, а потом поднимаюсь по ступенькам на склоне холма, сделанным из кедровых досок, закрепленных с каждой стороны колышками. Дом построен на песчаном холме, представляющем собой часть горного кряжа, оставшегося после схода ледников; все держится на нескольких дюймах почвы и тонком растительном покрове. Со стороны озера выступает и постепенно осыпается сырой песок: камни и уголь из печи, которой пользовались родители, когда начали жить здесь в палатках, уже давно исчезли, и деревья, растущие на краю, постепенно валятся – несколько из тех, что я помнила прямыми, уже наклонились. У красных сосен отслаивается кора, иголки на верхних ветках торчат пучками. На одной из них сидит зимородок, издавая отрывистый тревожный крик; птицы гнездятся на скалах, зарываясь в песок, что ускоряет эрозию.

Перед домом все еще стоит забор из проволочной сетки, хотя один конец почти свешивается с края. Родители так и не стали разбирать его; даже маленькие качели на месте, веревки износились от влаги и покрылись пятнами. Это было непохоже на родителей – оставлять что-то, не имеющее практической пользы; возможно, они ожидали, что к ним будут приезжать внуки. Отец хотел бы иметь семейный клан, как у Поля, с домами вокруг и отпрысками, продолжающими его род. Этот забор как упрек мне, он напоминает о моем провале.

Но я не могла привезти сюда ребенка, я никогда не считала его своим; я даже не давала ему имени, пока он не родился, хотя так делают почти все беременные.

Это был ребенок моего мужа, он навязал его мне; все время, пока ребенок рос во мне, я чувствовала себя суррогатной матерью. Муж тщательно следил за моим питанием, сам кормил меня, он хотел получить в итоге некое подобие себя; когда я родила, то перестала быть нужной ему. Но доказать этого я не могла – он был хитер: все время говорил, что любит меня.

Дом стал меньше, потому что (я догадалась) деревья вокруг выросли. И еще он посерел за прошедшие девять лет, словно поседел. Кедровые бревна стоят вертикально, а не лежат, стоячие бревна короче, с ними легче управиться одному человеку. Кедр не лучшее дерево, оно быстро ветшает. Как-то раз отец сказал: «Я строил это не на века». И я тогда подумала: «Но почему? Почему не на века»?

Я надеюсь, что дверь будет открыта, но она закрыта на висячий замок, как и сказал Поль. Порывшись в сумке, достаю ключи, которые он дал мне, и осторожно подхожу к двери: что бы я ни нашла внутри, это даст какую-то подсказку. Вдруг отец вернулся после того, как Поль запер дом, и не смог войти? Но есть и другие способы забраться в дом, он мог бы разбить окно.

Джо и Дэвид уже рядом, с рюкзаками и пивом. Последней идет Анна с моим чемоданом и бумажной сумкой; она снова напевает, теперь это «Холм пересмешника».

Я открываю деревянную дверь, потом сетчатую за ней и внимательно осматриваю комнату, прежде чем войти. Я вижу стол, покрытый голубой клеенкой, скамейку, еще одну скамейку, точнее, деревянный ящик, приделанный к стене, диван-кровать на металлическом каркасе с тонким матрасом. На этой кровати проводила дни мама: целыми днями она неподвижно лежала, укрывшись коричневым пледом, в осунувшемся лице ни кровинки. Мы говорили шепотом, она сильно изменилась и не слышала, когда мы обращались к ней; но на следующий день она вставала как ни в чем не бывало. Мы привыкли верить, что у нее хватит сил справиться с любой напастью; мы перестали воспринимать ее болезни всерьез, они были просто естественными фазами жизни, вроде окукливания. Когда она умерла, я в ней разочаровалась.

Все на месте. Капли воды с деревьев падают на пол.

Ребята заходят за мной в дом.

- Это здесь ты жила? - спрашивает Джо.

Обычно он не задает личных вопросов; не могу понять его настрой в отношении дома. Он подходит к снегоступам на стене, снимает один и вертит в руках.

Анна кладет провизию на столешницу и обхватывает плечи руками.

- Наверное, это была полная шиза, - говорит она. - Жить вот так, от всего отрезанной.

- Нет, - возражаю я.

Для меня это было нормальным.

- Кто к чему привык, - говорит Дэвид. - По-моему, тут четко.

Но он не уверен.

В доме еще две комнаты, и я быстро открываю двери. В каждой кровать, полки, одежда на гвоздях: куртки, плащи - они всегда висели там. Серая шляпа, у отца было таких несколько. В комнате справа к стене приколоты карта местности. В другой комнате на стене какие-то рисунки, акварели - я вдруг вспоминаю, что сама нарисовала их, когда мне было лет двенадцать или тринадцать; я не помнила о них все это время, и это единственное, что меня тревожит.

Иду назад в гостиную. Дэвид положил рюкзак на пол и развалился на диване.

- Боже, как я устал, - говорит он. - Кто-нибудь, подайте пива.

Анна приносит ему банку, и он хлопает ее по заднице со словами:

- Вот что мне нравится - сервис.

Она достает банки себе и нам с Джо, мы садимся на скамейки и пьем. Теперь, когда мы перестали двигаться, чувствуется, как здесь прохладно.

Привычный запах: кедр и дровяная печь, и деготь из пакли, забитой между бревнами, от мышей. Я поднимаю взгляд на потолок, на полки: за лампой стопка бумаг; возможно, отец работал над чем-то до того, как случилось то, что случилось, и он ушел. Там могло быть что-то для меня: записка, письмо, завещание. Я ждала чего-то подобного после смерти матери – какого-то послания, не денег, а чего-то символического. Какое-то время я проверяла почтовый ящик по два раза в день – я дала родителям только мой почтовый адрес; но ничего не пришло – возможно, она просто не успела.

Ни грязной посуды, ни разбросанной одежды, ничего такого. Совсем непохоже на дом, в котором прожили всю зиму.

– Который час? – спрашиваю я Дэвида.

Он смотрит на часы: почти пять. За ужин отвечаю я, поскольку это в каком-то смысле мой дом, а они мои гости.

В ящике за печкой сложена растопка, есть несколько поленьев белой березы; до этих мест болезнь еще не добралась. Нахожу спички и сажусь перед печкой – я едва помню, как разжигать ее, и трачу три или четыре спички, прежде чем занимается пламя.

Снимаю с крючка эмалированную миску и беру большой нож. Ребята смотрят на меня, но никто не спрашивает, куда я направляюсь, хотя Джо, похоже, обеспокоен. Наверное, он ожидал от меня истерики, и мое спокойствие напрягает его.

– Я в огород, – говорю я, чтобы подбодрить их.

Где огород, они знают – видели на подходе, с озера.

На тропинке и перед калиткой разрослась трава; сорняки не пололи месяц. В другое время я провела бы несколько часов, выдергивая их, но сейчас в этом нет смысла – мы пробудем здесь только два дня.

Из-под ног у меня выпрыгивают лягушки, им здесь хорошо – близко к озеру, сыро; мои парусиновые туфли насквозь промокли. Я срезаю несколько листьев

салата, он не цвел и горчит, затем выдергиваю лук и снимаю верхнюю коричневую шелуху, открывая белую, похожую на глаз луковицу.

Огород изменился – раньше по забору с одной стороны тянулась красная фасоль. Ее цветы были самыми красными в огороде, к ним подлетали колибри, зависая в воздухе, крылья так и трепетали. Если побег не трогать слишком долго, он желтел после первых заморозков и лопался. Внутри были зернышки, лилово-черные, внушавшие мне страх. Я знала, что если бы нарвала их и оставила у себя, то стала бы всесильной; но потом, когда достаточно подросла и смогла наконец дотянуться до них, это не сработало. Может, потому, что я не представляла, что мне делать с этой силой; если бы я стала такой же, как другие люди, наделенные властью, то принесла бы в мир зло.

Я перехожу на морковную грядку и выдергиваю морковь, но ее не прореживали как следует, и она хвостатая и коренастая. Я срезаю перья лука, морковную ботву и бросаю в компостную кучу, затем складываю все в миску и иду назад к калитке, мысленно отматывая время. В середине июня отец точно был здесь, он не мог уйти раньше.

У забора меня ждет Анна.

– Где туалет? – спрашивает она. – Я сейчас лопну.

Вывожу ее к началу тропинки и показываю направление.

– Ты в порядке? – спрашивает она.

– Конечно, – отвечаю я; вопрос удивляет меня.

– Мне жаль, что его здесь нет, – говорит она скорбно, пристально глядя на меня своими круглыми зелеными глазами, словно это ее беда, ее несчастье.

– Все в порядке, – успокаиваю ее я, – просто иди по тропе и увидишь, хотя идти неблизко. – Я смеюсь. – Не потеряйся.

Иду с миской к мосткам и мою овощи в озере. Я вижу в воде пиявку, хорошую, с красными точками на спине, извивающуюся, словно лента на ветру. У плохих

пиявок серые и желтые точки. Эти оценочные критерии придумал мой брат, когда в какой-то момент помешался на морали, должно быть из-за войны. Все должно было делиться на хорошее и плохое.

Я готовлю гамбургеры, и мы едим их, потом я мою посуду в битом тазу, а Анна вытирает; уже почти сумерки. Я достаю постельное белье из-под скамейки у стены и стелю нам с Джо, а Анна им с Дэвидом. Он, должно быть, спал все это время на диване в гостиной.

Им непривычно ложиться в постель, как только стемнеет, и я тоже отвыкла от этого. Боюсь, что они станут скучать без телевизора и всякого такого, и ищу, чем бы их развлечь. Домино, колода карт – вот все, что лежало под свернутыми одеялами. На полках в спальнях много книг в бумажных обложках – в основном детективы и легкое чтение. Помимо этого учебники по ботанике и всякие справочники: «Съедобные растения и побеги», «Рыбачим на сухую мушку», «Шампиньоны обыкновенные», «Строительство бревенчатого дома», «Справочник птиц», «Возможности вашей камеры». Отец считал, что, имея хорошие пособия, можно все сделать самостоятельно. Была у него и подборка серьезных книг: «Библия короля Иакова», которую он ценил, по его словам, за литературные достоинства, полное собрание сочинений Роберта Бернса, «Жизнь» Босуэлла, «Времена года» Томпсона, избранные стихи Голдсмита и Купера. Он восхищался ими – рационалистами восемнадцатого века, как он говорил: для него они были людьми, избежавшими пороков промышленной революции и постигшими секрет золотой середины, гармоничной жизни, – отец был уверен, что все они вели натуральное хозяйство. Я была шокирована, когда узнала намного позже – вообще-то, мне сказал муж, – что Бернс был алкоголиком, Купер сумасшедшим, Доктор Джонсон страдал маниакально-депрессивным психозом, а Голдсмит вообще был нищеводом. И с Томпсоном тоже было что-то не так; муж использовал понятие «эскапист». После этого я прониклась к ним большей симпатией – они перестали быть непререкаемыми авторитетами для меня.

– Зажгу лампу, – говорю я, – и мы сможем читать.

Но Дэвид возражает:

– Не-е-е, зачем читать, когда ты можешь делать это в городе?

Он крутит ручку приемника, но ничего не может поймать – сплошной треск и вой помех, похожий на музыку, наплывающую волнами, и комариный голосок, шепчущий по-французски.

- Черт, – говорит он, – хотел бы я знать, кто кого.

Это он про бейсбол – он фанат.

- Можем поиграть в бридж, – предлагаю я, но никто не хочет.

Потом Дэвид говорит:

- Ну, дети, пора преломить траву.

Он открывает свой рюкзак и шарит там, и Анна замечает:

- Что за дурацкое место – туда смотрят в первую очередь.

- Нет, на попку твою, – говорит Дэвид, улыбаясь ей, – в первую очередь. Легавые такие формы не пропустят. Не волнуйся, детка, я знаю, что делаю.

- Иногда я сомневаюсь, – бросает Анна.

Мы выходим из дома, идем к мосткам и потом сидим на сыром дереве, глядя на закат и покуривая. Облака на западе желто-серые, бледнеющие, а в чистом небе на юго-востоке восходит луна.

- Просто класс, – говорит Дэвид. – Лучше, чем в городе. Если бы мы только выпихнули фашистских свиней янки и капиталистов, в стране стало бы четко. Но тогда кто бы остался?

- О боже, – стонет Анна, – не начинай это.

- Как? – спрашиваю я. – Как бы ты их выпихнул?

– Организовать бобров[19 - Бобр на американском сленге – работяга, пахарь.], – говорит Дэвид, – пусть перегрызут их, по-другому никак. Идет такой биржевой брокер янки по центру Торонто, и его облепляют бобры, сигают на него с телефонной будки, хрум-хрум – и готово. Слышали о новейшем национальном флаге? Девять бобров ссут на лягушку[20 - Лягушка на американском сленге – обыватель или француз.].

Шутка бородатая и грубая, но я все равно смеюсь. Немного пива, немного травки, немного шуток, немного трепа о политике – золотая середина; мы новая буржуазия, а мостки можно считать комнатой отдыха. Все равно я рада, что они со мной, мне бы не хотелось быть здесь одной; в любой момент на меня может накатить чувство утраты, пустоты – они это отводят от меня.

– Вы сознаете, – не унимается Дэвид, – что эта страна стоит на трупах животных? Убитых рыбах, убитых тюленях и убитых в рекордном количестве бобрах: бобр для этой страны – то же самое, что черные для Соединенных Штатов. Более того, в Нью-Йорке это теперь ругательство – бобер. Думаю, это говорит о многом.

Он садится и злобно смотрит на меня в полутьме.

– Мы не твои студенты, – говорит Анна. – Лежи спокойно.

Его голова покоится у нее на коленях, она гладит его по лбу, я вижу, как движется туда-сюда ее рука. Они женаты девять лет – мне сказала Анна, – они должны были пожениться примерно в то же время, что и я; но она старше меня. У них должен быть какой-то особый метод, секрет, какое-то знание, которого мне не доставало; или я просто вышла не за того. Я думала, все получится само собой, без всяких усилий с моей стороны, я просто стану половинкой целого, мы превратимся в пару, будем дополнять и уравнивать друг друга, как деревянные фигурки мужчины и женщины в домике-барометре у Поля. Первое время нам было хорошо, но он изменился, когда я вышла за него, когда он женился на мне – когда мы закрепили это юридически. Я до сих пор не понимаю, почему подпись на бумажке должна что-то значить, но он стал ожидать чего-то от меня, что должно было нравиться ему. Нам следовало просто спать вместе и не рассчитывать на большее.

Джо кладет руку мне на плечи, я прикасаюсь к его пальцам. Мне вспоминается черно-белый буксир, ходивший по озеру (или это была плоская баржа?), медленно увлекая за собой бревна к плотине. Я махала этим людям всякий раз, как мы проплывали мимо в нашей лодке, и мне махали в ответ. На буксире (или барже) был домик, пригодный для житья, с окошками и печной трубой над крышей. Я считала, что такая жизнь самая лучшая – в плавучем домике, в котором есть все, что тебе нужно, и люди, которые тебе нравятся; захочешь перебраться куда-нибудь – запросто.

Джо раскачивается вперед-назад и по сторонам – это может значить, что он счастлив. Ветер снова поднимается, обвеивает нас то теплыми, то прохладными струями, за спиной у нас шелестят деревья, тревожа воздух; вода отсвечивает льдистым светом, превращая в осколки отсвет мутно-голубой луны. Я слышу крик гагары, и каждый волосок у меня на теле поднимается; со всех сторон раздается эхо, окружая нас – здесь отовсюду раздается эхо.

## Глава пятая

Меня будит птичье пение. Еще не рассвело, в городе в такое время даже машины не ездят, но я привыкла спать, не замечая этого. Раньше я различала звуки всего живого; я вслушиваюсь, но уши отвыкли от этих звуков, и теперь я слышу неразборчивую мешанину. Птицы поют ради того же, ради чего гудят грузовики, – они заявляют права на свою территорию, – это рудиментарный язык. Лингвистика – вот что мне следовало изучать вместо искусства.

Джо тоже почти проснулся и что-то мычит, обернув голову простыней как платком. Он стащил простыни с ног, оголив тонкие ступни с пальцами, сиротливо торчащими в разные стороны, они напоминают картошку, проросшую в сумке. Мне интересно, вспомнит ли он, как разбудил меня ночью, сев со словами: «Где это мы?» Он делает так всякий раз, как мы спим на новом месте. Я ответила: «Все в порядке, я здесь», – а он сказал: «Кто? Кто?» – он был словно пьяный, но все же послушался и лег обратно. Я боюсь прикасаться к нему, когда он такой, чтобы он не принял меня за вражеского солдата из своих кошмаров; но он начинает доверять моему голосу.

Я рассматриваю открытую часть его лица, веко и край носа – кожа бледная, словно он жил в подвале, а мы действительно жили в подвале; борода темно-бурая, почти черная, она переходит на шею и сливается под простыней с порослью на его спине. Спина у него более волосатая, чем у большинства мужчин – теплая шкура, почти как у медведя, хотя, когда я сказала ему об этом, он вроде бы решил, что я унижаю его достоинство.

Я пытаюсь решить, люблю я его или нет. Это в принципе не имеет значения, но всегда наступает момент, когда любопытство становится важнее спокойствия и ты задаешь себе этот вопрос; но он пока не спрашивал меня об этом. Лучше решить для себя заранее: будешь ты юлить или пойдешь напролом и скажешь правду, тогда тебя, по крайней мере, не застигнут врасплох. Я прикидываю все за и против, раздумывая о Джо: он хорош в постели, лучше, чем мой бывший; иногда он хандрит, но ко мне не придирается, мы платим за жилье пополам, и он немногословен, что мне нравится. Когда он предложил жить вместе, я сразу согласилась. Это даже было не сознательным решением, а чем-то вроде покупки золотой рыбки или кактуса в горшке – не потому, что тебе этого действительно хотелось, а просто ты заходишь в магазин и видишь, как они стоят на полке и смотрят на тебя. Я его ценю, мне с ним лучше, чем без него; хотя было бы неплохо, если бы он значил для меня больше. И еще с ним я не грущу – и ни с кем после мужа не грустила. Развод – это как ампутация: ты выживаешь, но чувствуешь, что тебя урезали.

Я лежу какое-то время с открытыми глазами. Раньше это была моя комната; Анна и Дэвид в комнате с картой, а в этой мои рисунки. Красотки в экзотических костюмах, на лоб спадают колбаски куделей, красные губы бантиком и ресницы, как зубная щетка: когда мне было десять, я была в восторге от гламура, для меня это была своеобразная религия, и это были мои иконы. Их руки и ноги застыли в эффектных позах, одна рука в перчатке на бедре, одна ступня выставлена вперед. Туфли похожи на копытца, каблуки под прямым углом один к другому, коралловые платья без бретелек, как у Риты Хейворт, с балетными юбочками в точках, означавших блески. Я тогда рисовала не очень хорошо, пропорции слегка искажены, шеи слишком короткие, а плечи широченные. Должно быть, я имитировала бумажных кукол, которых видела в городе, картонных кинозвезд – Джейн Пауэлл, Эстер Уильямс – с отдельными купальниками, прикрывающими их тела, и вырезанными стандартными пижамами и кружевным бельем. Такие куклы покупали маленьким девочкам в серых кофточках и белых блузках, с искусственными косичками, пришпиленными к их головкам розовыми пластиковыми заколками, и они делали с ними что хотели: приносили в школу и играли на переменах, елозя по

потертой кирпичной стене, ставя ногами в снег, надевая бумажные одежды на ледяном ветру, придумывая для них танцы и вечеринки, торжества с нескончаемой сменой платьев – рабство удовольствий.

Под картинками, в ногах кровати, на гвозде висит серая кожаная куртка. Грязноватая, кожа потрескалась и облупилась. Я не сразу узнаю куртку – ее давным-давно носила мама и держала в карманах семечки. Я думала, она ее выбросит; ей здесь теперь не место, отец должен был избавиться от нее после похорон. Одежду умерших нужно хоронить вместе с ними.

Я поворачиваюсь на другой бок и отжимаю Джо дальше к стене, чтобы устроиться поудобнее.

Когда через какое-то время я пробуждаюсь, Джо уже не спит, он вылез из-под простыни.

– Ты разговаривал во сне, – говорю я ему.

Иногда я думаю, что он больше разговаривает во сне, чем наяву.

Он уклончиво что-то мычит.

– Есть хочу, – говорит он, а потом спрашивает: – Что я говорил?

– Как обычно. Спрашивал, где ты и кто я.

Мне бы хотелось побольше узнать о его сне; раньше и мне снились сны, но больше не снятся.

– Ну, значит, ничего нового, – говорит он. – Это все?

Я отбрасываю простыню и опускаю ноги на пол, преодолевая себя: даже в середине лета ночи здесь холодные. Я быстро одеваюсь и иду топить печь. Анна уже в общей комнате, все еще в нейлоновой ночнушке без рукавов и босиком, она стоит перед тусклым желтоватым зеркалом. На столешнице перед ней раскрытая пудреница – она наносит макияж. Я понимаю, что впервые вижу ее ненакрашенной; без румян и подведенных глаз ее лицо непривычно помятое,

лицо потрепанной куклы; ее искусственное лицо и есть настоящее. Руки у нее с тыльной стороны в мурашках.

– Здесь тебе это не нужно, – говорю я. – Никто тут на тебя не смотрит.

Фраза моей мамы, сказанная мне однажды, когда мне было четырнадцать лет; она в смятении смотрела, как я крашу губы помадой красно-оранжевого цвета. Я сказала ей, что просто решила попробовать.

Анна тихо отвечает:

– Я ему не нравлюсь без этого. – И добавляет, противореча себе: – Он не знает, что я крашусь.

Я задумываюсь об этом ухищрении (или преклонении?): ей приходится каждое утро выскальзывать из постели, пока он не проснулся, а перед сном ложиться в постель без света? Может, Дэвид просто льстит ей; но она так хорошо накладывает макияж, что он может и не заметить.

Пока греется печка, я выхожу из дома: сперва в нужник, затем обратно к озеру, сполоснуть руки и лицо, и к леднику, сделанному из металлического мусорного контейнера, вкопанного в землю, с плотно закрывающейся от енотов дверцей, придавленной тяжелыми досками. Когда раз в год приезжали охотинспекторы на полицейском катере, они не могли поверить, что у нас нет морозильника для браконьерской рыбы, и повсюду его искали.

Я достаю яйца; бекон лежит в сетчатом ящике под домом, с вентиляцией, мухам и мышам туда не добраться. В доме поселенцев здесь был бы погреб и коптильня; мой отец всегда импровизировал, избегая стандартного подхода.

Вношу продукты в дом и готовлю завтрак. Джо и Дэвид уже встали: Джо сидит на скамейке у стены, лицо еще заспанное, а Дэвид изучает в зеркале подбородок.

– Могу нагреть воду, если хочешь побриться, – предлагаю я, но он усмехается мне, глядя в зеркало, и качает головой.

- Не-е-е, - говорит он, - я собираюсь отпустить бородку.

- Даже не думай, - возражает Анна. - Мне не нравится, когда он меня целует с бородой - похоже на манду. - Она вскидывает ладонь к губам, словно и сама шокирована. - Ужас, да?

- Похабное словечко, женщина, - говорит Дэвид. - Она бескультурна и вульгарна.

- Да я не спорю. Всегда такой была.

Это такое спонтанное представление для нас с Джо, но Джо все еще витает в облаках, где проводит большую часть времени, а я жарю бекон, стоя у плиты, и не смотрю, так что они быстро прекращают.

Сажусь на корточки перед печкой и открываю дверцу топки, чтобы поджарить хлеб над углями. Теперь уже нет грязных слов, они потеряли силу и вошли в повседневный обиход; но я помню охватившее меня чувство недоумения, ошарашенности, когда выяснила, что существует некоторое количество грязных слов, а остальные - чистые. Во французском плохие слова связаны с религией - в любом языке самые страшные слова связаны с тем, что больше всего пугает людей, - в английском это тело, которое внушало даже больший страх, чем бог. Можно даже сказать «господи боже» от злости или отвращения. Я узнала о религии так, как большинство детей узнают о сексе, не в подворотне, а в кирпично-бетонном школьном дворе, в зимние учебные месяцы. Школьницы собирались группами, держась за руки в варежках и перешептываясь. Они ужасно напугали меня, сказав, что на небе сидит мертвец и смотрит за всем, что я делаю, а я оплатила им тем, что объяснила, откуда берутся дети. Матери некоторых девочек стали звонить моей и жаловаться, хотя, думаю, я была сильнее травмирована, чем они: они мне не поверили, а я поверила им.

Хлеб поджарился; бекон тоже готов - я выкладываю все на тарелку и сливаю жир в огонь, отводя руку от взметнувшегося пламени.

После завтрака Дэвид интересуется:

- Что на повестке?

Я говорю им, что хотела бы обыскать тропу длиной полмили вблизи берега; отец мог пойти по ней за деревом. Была еще одна тропа, шедшая в обратную сторону почти до самого болота, но это была тропа моего брата, секретная тропа, и она наверняка давно заросла.

Отец не мог покинуть остров: обе лодки в сарае, а алюминиевая моторка привязана цепью к дереву рядом с мостками; топливные баки пусты.

– В любом случае, – говорю я, – он может быть только в двух местах: на острове или в озере.

Но разум мне подсказывает: кто-нибудь мог подобрать его и отвезти в деревню на другой стороне озера – это был бы идеальный способ исчезнуть; возможно, он вовсе не жил здесь зимой.

Но возможно и другое: нет ничего необычного в том, чтобы пропасть в глухом лесу – такое случается каждый год раз по десять. Достаточно лишь маленькой ошибки – уйти слишком далеко от дома зимой, попасть в метель или подвернуть ногу, так что не сможешь идти, и весной тебя прикончит мошкара, заберется под одежду, искушает до крови, и ты за день сойдешь с ума. Но я не могу поверить в такое – отец слишком хорошо знал эти места и был очень осторожен.

Я даю Дэвиду мачете – не представляю, в каком состоянии окажется тропа – возможно, нам придется прорубать заросли, чтобы идти вперед; Джо несет тесак. Прежде чем выйти, я опрыскиваю им и себе запястья и лодыжки спреем от насекомых. Когда-то от бесчисленных комариных укусов у меня выработался иммунитет, но потом пропал: на ногах и теле у меня несколько зудящих розовых отметин с прошлой ночи. Звуки любви на севере – поцелуй, шлепок.

Все небо в низких тучах; легкий ветер с юго-востока, позже может пойти или пройти мимо дождь, погоду здесь так же трудно предсказать, как найти нефть. Мы проходим между огородом и озером, по шею в траве с дикой малиной, мимо кострища и компостной кучи. Нужно было выкопать мусор и посмотреть, насколько он старый; есть также яма, где сжигались расплющенные консервные банки – их тоже можно выкопать. Поиск отца как решение археологической задачи.

Мы на тропе через лес; начало довольно свободное, но то и дело встречаются гигантские пни, ровные, спиленные пилой, останки деревьев, росших здесь до того, как сюда пришли люди. Больше деревьям никогда не дадут так вырасти, их срубают, как только они достигнут приличной высоты, большие деревья теперь так же редки, как киты.

Лес густеет, и я высматриваю зарубки на стволах, еще различимые спустя четырнадцать лет; такие деревья нарастили шишки вокруг порезов, рубцовую ткань.

Мы начинаем подъем в гору, и мне снова вспоминается бывший муж, вспыхивая таким картинным образом, которые он мастер принимать: кристально ясное изображение, ограниченное глухой стеной. Он пишет на заборе свои инициалы, изысканным каллиграфическим почерком, показывая мне, как надо – он, кроме прочего, преподавал шрифтовой дизайн. На заборе есть и другие инициалы, но свои он делает больше – это его метка. Я не могу вспомнить время или место, помню, это было в городе, еще до женитьбы; я лгну к нему сзади, восхищаясь тем, как зимний свет падает на его скулу и резко очерченный нос, благородный и скошенный, как на римских профилях; в то время все, что он делал, было идеально. Его рука в кожаной перчатке. Он говорил, что любит меня, это магическое слово, которое должно все озарять, – я больше никогда не поверю в его силу.

Моя злость в отношении бывшего мужа удивляет меня: ведь именно я была тем, кого называют виновной стороной, я ушла от него, тогда как он ничего подобного не делал. Он хотел ребенка, это нормально, хотел, чтобы мы поженились.

Утром, пока мы мыли посуду, я решила задать вопрос Анне. Она вытирала тарелку, вполголоса напевая куплеты «Большой карамельной скалы».

– Как это у вас получается? – спросила я.

Она перестала напевать.

– Что получается?

– Семейная жизнь. Как вы все это поддерживаете?

Она окинула меня взглядом, словно желая убедиться, не шучу ли я.

- Мы рассказываем много анекдотов.

- Нет, правда, - не отступала я.

Если имелся какой-то секретный способ, я хотела его знать.

И тогда она принялась рассказывать мне, или не именно мне, а невидимому микрофону у себя над головой - люди говорят как радио, когда дают советы. Она сказала, что просто нужна эмоциональная чуткость, вроде того, как когда ходишь на лыжах: нельзя знать наперед, что тебя ждет, но нужно уметь отпускать ситуацию. «Что отпускать?» - хотелось мне спросить; я примерялась к тому, что она говорила. Может, потому я и не справилась - просто не знала, что отпускать. Мне все это напоминало не лыжную прогулку, а, скорее, прыжок со скалы. Такое чувство меня преследовало постоянно, когда я была замужем: я в воздухе, лечу вниз, ожидая удара о землю.

- А почему не вышло у тебя? - спросила Анна.

- Не знаю, - сказала я. - Наверное, была слишком молодой.

Она сочувственно кивнула:

- Что ж, тебе повезло, что нет детей.

- Да, - произнесла я.

Анна бездетна; иначе она бы так не сказала. Я никогда не говорила ей о ребенке; и Джо не говорила - ни к чему. Сам он об этом не узнает - у меня ни в ящичке стола, ни в бумажнике нет фотографий с ребенком (глазеющим из колыбели, или из окна, или через прутья манежа), на которые Джо мог бы наткнуться и испытать потрясение, возмущение или обиду. Мне нужно вести себя так, как будто этого ребенка не существует, поскольку для меня это так и есть, его у меня забрали, вывезли, депортировали. Часть моей жизни отрезали от меня, словно сиамского близнеца, отняли мою собственную плоть. Я провалилась, не справилась. Мне нужно все забыть.

Тропа теперь вьется по возвышенности, где из земли выступают валуны, принесенные и брошенные ледниками, поросшие мхом и папоротниками – это из-за влажного климата. Я смотрю на землю и вспоминаю разные названия: грушанка, дикая мята, индейский огурец, – когда-то я могла назвать каждое растение, которое можно как-то использовать или съесть. Я выучивала наизусть руководства по технике выживания – «Как выжить в глухом лесу», «Тропы и следы животных», «Лес зимой» – в том возрасте, когда мои городские ровесницы читали журнал «Настоящая любовь»: только тогда я смогла осознать, что человек действительно может сбиться с пути. Вспоминаются правила: всегда бери спички – и не умрешь с голоду, в метель выкапывай нору, сторонись неизвестных грибов, самое важное – это руки и ноги: если они замерзнут, тебе конец. Пустое знание; поповые журналы с их поучительными историями о девушках, поддавшихся соблазну и наказанных ребенком-дауном, переломом позвоночника, смертью матери или тем, что их мужчину увела лучшая подруга, были бы более практичны.

Тропа ныряет вниз и идет через болото, по краю бухты – здесь туи и камыши, ирисы и тина. Я иду медленно, высматривая следы. Не видно ничего, кроме оленьих следов, никаких следов человека: очевидно, Поль и поисковая бригада сюда не забирались. Нас учуяли комары и кружат над нами; Джо ругается тихо, Дэвид – во весь голос, и, наконец, я слышу, как Анна шлепает себя.

Мы отклоняемся от берега и попадаем в джунгли: через тропу протянулись ветви, орешник и клен, чахлые деревца. Через пару футов ничего не видно – стволы и листва образуют непролазный плетень: зеленый, зелено-серый, серо-бурий. Ни одна ветка не срезана и не сломана – если отец здесь и был, он чудесным образом обошел это место, а не двигался напролом. Я отхожу в сторону, и Дэвид прорубает путь мачете, не очень успешно; он не столько режет, сколько колошматит.

Мы подходим к дереву, упавшему поперек тропы. Оно потянуло за собой несколько молодых вьюнков: они лежат, плотно переплетенные, – завал.

– Не думаю, что кто-нибудь заходил сюда, – говорю я.

– Железно, – соглашается Джо.

Он явно раздражен. Я всматриваюсь в лес, пытаюсь разглядеть, нет ли там другой тропы, обходящей бурелом, но ничего не вижу; или я так взвинчена, что вижу слишком много и каждый просвет между деревьями напоминает тропу.

Дэвид тычет мачете в мертвый ствол, дырявя кору. Джо садится на землю: он тяжело дышит – слишком долго прожил в городе, – и его облепили насекомые, он чешет шею и руки с тыльной стороны.

– Пожалуй, хватит, – говорю я, ведь это мне положено признать поражение.

Анна откликается:

– Слава богу, а то меня уже зажрали.

Мы поворачиваем обратно. Отец, конечно, мог быть где-то здесь, но я убедилась в бессмысленности затеи найти его на острове длиной в две мили. Для этого потребовалось бы двадцать, а то и тридцать человек, рассредоточенных на равных расстояниях и движущихся через лес напрямую, и даже тогда его могли бы не заметить, мертвого или живого, жертву несчастного случая, самоубийства или убийства. А если по какой-либо неведомой причине он решил уйти от всех и скрывается в этих местах, его никогда не найдут: здесь нет ничего проще, чем дать поисковикам пройти мимо, а потом незаметно следовать за ними, останавливаясь одновременно с ними, не упуская их из виду, чтобы, куда бы они ни повернули, всегда быть у них за спиной. Я бы поступила так.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Добро пожаловать (фр.) – Здесь и далее прим. пер.

2

Сбавьте скорость (фр.).

3

Держитесь правой стороны (фр.).

4

Голосуйте за Годе, Голосуйте за О'Брайена (фр.).

5

Свободу Квебеку (фр.).

6

Пейте кока-колу со льдом (фр.).

7

Пиво (фр.).

8

Добрый день, месье (фр.).

9

Англичане (фр.).

10

Очень хорош (фр.).

11

Восхитительный (фр.).

12

Хорошая погода (фр.).

13

Простите? А, хорошая погода, да, хорошая погода, ну да (фр.).

14

Почтовый ящик (фр.).

15

Плевать на пол запрещено (фр.).

16

У вас есть рубленое мясо? (фр.)

17

Варвары (фр.).

18

В нарезке (фр.).

19

Бобр на американском сленге – работяга, пахарь.

20

Лягушка на американском сленге – обыватель или француз.

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/margaret-etvud/probuzhdenie>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)